

Перед ветрами времени



Елена Викторовна Говор.

С доктором философии Еленой ГОВОР, живущей в австралийской Канберре, меня познакомил случай. Открыв для себя тот факт, что в книге «Русские анзаки в Австралии» Елена Викторовна рассказывает о моем земляке из родной Затитовой Слободы Александре Майко, я поспешил что-либо узнать об этом белорусе-эмигранте начала двадцатого века. И думать тогда не думал, что познакомлюсь с интереснейшим исследователем, писательницей, которая еще совсем недавно жила и работала в Минске. Впрочем, обо всем этом — в интервью, которое и предлагаю вниманию читателей.

— Елена, почему же все-таки выбор, где жить, где постигать секреты мироздания, пришелся на «пятый континент»?

— Открыла я Австралию в... тринадцать лет, в 1970 году. Как-то мне в руки попал сборник «Австралийские рассказы». До сих пор помню этот долгий зимний вечер. Зеленый Луг-1, улица Калиновского. Мириады безликих домов за

окном, бравурные сводки новостей по радио, и я, послушная школьница-пионерка, — все внезапно исчезло, развеялось как туман. Я оказалась посреди открытой мною новой земли. Ветер, напоенный запахом эвкалиптовых листьев, шелестел в сухой сероватой траве, мерно покачивалась повозка, запряженная волами, наш путь лежал к цепи голубых холмов на горизонте. Все должно было свершиться там, впереди. «Я — приду!» — поклялась я этой неведомой земле.

Теперь, глядя назад, думаю, что вот это чувство свободы, осознание того, что есть такая земля, где все зависит от тебя самого, и было самым главным, что притягивало меня к Австралии. Хотя бы в мечтах она делала меня свободной, выводила прочь от окружающей тягостной действительности. Бескорыстное, рыцарское служение Австралии стало моим способом «жить не по лжи», к которому призывал Солженицын. О Солженицыне, впрочем, я тогда еще не слышала. Дав обет верности Австралии, я, в своем юношеском максимализме, теряла Белоруссию, теряла Россию. И только годы спустя, когда школьная пропаганда любви к родине осталась позади, я вернулась к ней и увидела ее по-новому, через историю своих предков, через художественную литературу и «тамиздат». В те же далекие глухие годы я была убеждена, что моя подлинная родина там, на другом конце земли, в другом времени.

Помню, как поразил меня рассказ Александра Грина «Далекий путь», герой которого пережил то же, что и я, и в конце концов дошел до земли своей мечты. Но Андрей Синявский с его трагическим рассказом «Пхенц» о судьбе инопланетянина, застрявшего на Земле, пожалуй, лучше всех описал этот новый тип людей, порожденных советской действительностью. Ведь в своем бегстве от нее я была не одинока, вокруг меня жили такие же молчаливые Пхенцы. Жизнь за железным занавесом создала из нас удивительное племя путешественников-мечтателей, и Австралия стала самой недостижимой, неведомой, неизбитой, а потому самой притягательной целью наших «путешествий». Увы, только единицы из нас добрались до ее берегов. И то, что я пишу эти строки, глядя из своего университетского кабинета на усеянные солнечными бликами вершины эвкалиптов, и ветер временами доносит сюда треск цикад и пересвист попугаев, — счастливое исключение из правила.

— **Детство, юность прошли в Минске... Что самое памятное из того времени?**

— Минск, советский Минск, сыграл свою роль катализатора моего бегства, на первых порах воображаемого, в Австралию. Но в то время я не отдавала себе отчета, что вопреки моему отторжению город стал частью моей жизни, моей души. А может быть, он и всегда был во мне, где-то на уровне генетической памяти. Я ведь минчанка в пятом поколении, и старый Минск всегда жил в нашей семье. Здесь с 1880-х годов на Марковской улице у Военного кладбища жил мой прапрадед Фаддей Онуфриевич Жолнеркевич, обедневший дворянин с польским гонором. Со 2-й Сергеевской, за вокзалом, через железнодорожный мост в Мариинскую гимназию на Подгорной ходила моя бабушка Людмила Иосифовна Борисевич. Да и мы с ней ходили по Долгобродской на Круглую площадь.

— **Теперь Долгобродская разделена на две части... Она — еще и Козлова...**

— Проходя мимо собора, который теперь стал визитной карточкой Минска, я представляла мою бабушку девочкой на вечерней службе, когда поют «Свете тихий» и солнечный луч заглядывает в храм. Увы, в 1960—70-х годах, когда я росла, история Минска, в школьном варианте, начиналась с войны, и как же мне не хватало этой подлинной истории, не памятников истории даже, а именно вот этой живой связи с прошлым, крупницы которой иногда открывала мне бабушка.

Но человеческая натура — вещь любопытная. Человек одухотворяет и то, в чем, казалось бы, нет души. Так и я создавала «свой» Минск. Мне вспоминаются строки из моих детских стихов:

Из дома утром выхожу
И вижу я корабль,
Зажег в каютах он огни
И мчится по волнам.

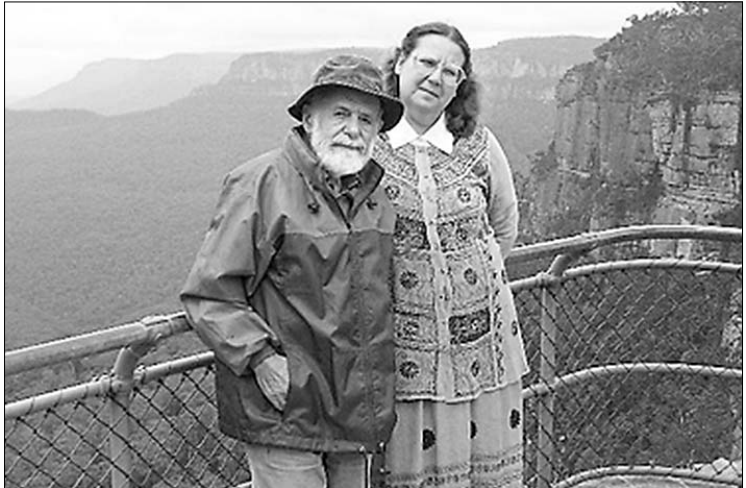
Это о моей 93-й школе, прямоугольной коробке, которая была прямо за стадионом, в пяти минутах ходьбы (и как я завидовала детям, которые ездят в школу на трамвае!). Или вот об улице Калиновского:

Ровный ряд фонарей —
Неравномерная шкала,
Небо иссиня-черное
И из меди луна.
А минские ночные трамваи!
Вагоны грохнули и тронулись,
Куда-то мчит трамвай пустой.
Мелькают фонари под кленами
В тиши ночной, в тиши пустой.

Это все со мной так и кочует по жизни. Когда в сумерках, весь в огнях, от пристани отходил круизный корабль на острове Нуку-Хива (на Маркизских островах в Тихом океане), мне вспомнился тот далекий школьный корабль моего детства. И когда в летнем лагере на берегу Тихого океана мы пели с австралийскими студентами-славистами «Последний троллейбус» Булата Окуджавы, я ехала на своем трамвае по минской улице Якуба Коласа...

А еще вспоминаются минские праздники — трехцветный салют над Свислочью, и иллюминация проспекта, и мороженое-пломбир за 19 копеек, и мои патриотические стихи, написанные от всей души: «Осенний город наполнен огнями, / они на домах, в глазах, в сердцах...» Как же нам хотелось праздника, пусть вопреки жизненной реальности, которая все явственнее проступала сквозь оболочку брежневского благополучия! Да и сам Проспект, нанизавший на себя одну за другой разные эпохи, — сколько раз я шла по нему из конца в конец, предчувствуя будущие дороги, по которым хотелось идти и в пространстве, и во времени. Как ни странно — так и получилось!

С мужем Владимиром Рафаиловичем Кабо.



— Если уж зашла речь о трогательно-вспоминательной топонимике, то расскажите о самом любимом вашем месте в городской черте...

— «Ленинка», та, старая, на перекрестке Красноармейской и Кирова. Я и учиться начала рядом — на библиотечном факультете пединститута (теперь это Белорусский университет культуры и искусств). Тогда же возник мой первый проект — составить библиографию книг об Австралии, всего, что писали о ней на русском языке. Каждый день после занятий я шла в «Ленинку», заказывала книги и журналы, искала работы об Австралии, читала, аннотировала. А как было радостно идти потом по проспекту с «открытиями», выписанными на библиотечные карточки. Все это пригодилось уже здесь, в Австралии.

— С писателем и этнографом Владимиром Кабо вы познакомились сначала по книгам... И только потом — замужество, семья... Но у каждого из вас был за плечами опыт своего поколения... Усложняло ли это ваши отношения?

— Да, именно в Минске я и познакомилась с книгами Владимира Рафаиловича. Зашла в книжный магазин напротив Драматического театра и робко спросила у продавщицы, есть ли у них что-либо об Австралии. Она с некоторым колебанием показала мне монографию В. Р. Кабо «Происхождение и ранняя история аборигенов Австралии». Я собрала все свои копейки и купила ее. Помню, как вышла из магазина, прижимая свое сокровище к груди, а потом дома начала читать со словарем иностранных слов. А когда лет десять спустя познакомилась с Владимиром Рафаиловичем, я согласилась выйти за него замуж буквально через полчаса после знакомства. Разница в возрасте у нас была — целое поколение, но вот прожили мы вместе 26 лет, до самой его смерти. Он был очень интересный человек, из профессорской московской семьи, прошел войну (брал Берлин, был награжден орденом Красной Звезды), а потом на последнем курсе Московского университета его арестовали. И он провел пять лет в тюрьмах и лагерях. После лагеря он публично разоблачил посадившего его человека, и за это, вероятно, стал невыездным. Он еще в лагере заинтересовался австралийскими аборигенами (ему родители присылали туда книги), да и истоками человеческого общества и духовной культуры в целом. Но поехать в Австралию по понятным причинам не мог. И только в 1990 году мы смогли, наконец-то, попасть в Австралию. Владимиру Рафаиловичу было уже за шестьдесят... Здесь он написал две свои главные книги «Круг и крест: Размышления этнолога о первобытной духовности» и «Дорога в Австралию» — историю своей жизни. Это был человек, который с юности нравственно противостоял системе, и он не утратил этого нравственного максимализма до самого конца. Человек цельный, с чувством собственного достоинства, погруженный в размышления о коренных вопросах мироздания. Общение с ним многому научило

меня — и думать, и писать, и находить правильные ориентиры в жизни. Можно сказать, что я прошла настоящий университет, печатая его работы, общаясь с ним. А сколько мы книг вслух по вечерам прочитали! Сколько вместе путешествовали!

— **Рассказывая о судьбах российской эмиграции в Австралии, вы так или иначе выходите на «белорусскую тему»...**

— Я специально белорусов не выделяю, но когда нахожу своего земляка среди «русских» австралийцев, конечно, радуюсь. Вот, например, такая история. Мой коллега Александр Массов и я установили, что белорус был среди первых ссыльных в Австралии, которая начиналась как ссыльная колония. А здесь, надо сказать, предками-ссыльными гордятся, это своего рода австралийская аристократия. Капитан Андрей Лазарев, который с кораблями «Крейсер» и «Ладога» посетил Хобарт на Тасмании в 1823 году, писал в рукописи своей книги, что там они встретили «пожилых лет уроженца белорусского Потоцкого», который в царствование Екатерины II был русским армейским офицером. «Судьбами превратного счастья» он попал в Англию и за кражу был сослан в Австралию. Его жена и сын добровольно отправились с ним. Их корабль высадил ссыльных на Тасмании, острове у берегов Австралии, в 1804 году, и дочь Потоцких Катерина стала первым европейским ребенком, родившимся на этом острове. Потоцкий вошел в историю Тасмании как Джон Потэски; я разыскала его потомков, их уже более двух тысяч человек. Во время того же захода русских кораблей на Тасманию с «Крейсера» бежал другой белорус, Станислав Станкевич из Виленской губернии. Его приключения — тоже интересная страница белорусско-австралийских связей.

— **Но если говорить о количественной составляющей белорусов на «пятом континенте» в разные времена...**

— Ко времени революции в Австралии было не менее двухсот уроженцев белорусских губерний, жизнь которых мне удалось документировать благодаря тому, что они натурализовались. Среди них три четверти составляли евреи, а остальные — славяне, в основном белорусы. По моей оценке общая численность белорусов была гораздо больше, так как многие из них приехали в Австралию накануне Первой мировой войны на заработки и не могли или не стремились натурализоваться. Я собираю о них материалы из различных источников — пассажирских списков, военной регистрации иностранцев, австралийских газет, а иногда и от их потомков. И меня, конечно, интересует не статистика сама по себе, а живые истории. Вот, например, история семьи Иосифа Игнатьевича Чеховского — белоруса или поляка из Гродненской губернии. В юности он отправился в Америку, получил там образование, женился на русской девушке Татьяне Платуновой и вместе с ней перебрался на Гавайи, а в 1914 году приехал в Австралию. В 1922 году он умер. И вторым мужем Татьяны стал тоже белорус, Николай Тихевич. Россиянам в это время в Австралии приходилось тяжело, и Татьяна с детьми отправилась в Россию. Муж должен был последовать за ней, но его жизнь трагически оборвалась, и Татьяна с четырьмя маленькими детьми осталась во Владивостоке — обратно в Австралию ее не пустили. По архивным документам я могла проследить, как она многие годы добивалась выезда из СССР. И чудо свершилось — в 1981 году, 58 лет спустя, в Австралию выпустили ее дочь Алис Бланш Чеховскую, художницу, которую мне и посчастливилось разыскать в Австралии. А братья ее погибли в СССР — старший в ГУЛАГе, а младший — на войне. Не менее трагична и история семьи Заборовских с Белостотчины, но я надеюсь о них и о многих других рассказать в своих очерках.

— **Русские анзаки — отдельная тема ваших исследований. Так кто же это все-таки — русские анзаки?**

— Русские, точнее сказать, российские анзаки — это интересный аспект российско-австралийских связей, которыми я занимаюсь много лет. ANZAC — это

аббревиатура, которая стала использоваться в годы Первой мировой войны, во время высадки войск на Галлиполи в 1915 году, для названия военнослужащих Австралийско-Новозеландского армейского когорта. Ныне это легендарное звание, вроде наших понятий «фронтовик», «ветеран». Легенда анзаков — часть австралийского национального самосознания, но каждое новое поколение австралийцев вкладывает в нее свое понимание, осмысливает ее по-новому. Это удивительная попытка соединить легенду со все новыми и новыми фактами подлинной истории. Сейчас даже школьники знают, что высадка в Галлиполи — это была военная авантюра, бессмысленная бойня. У них нет ненависти к противникам австралийцев — туркам, наоборот, они чуть ли не готовы просить у них прощения за то, что австралийцы, винтики военной машины, высадились в Турции и убивали турецких солдат на их земле. И когда молодые австралийцы совершают паломничество на берега Галлиполи, для них это повод задуматься об очень важных вопросах нашего прошлого. Галлиполи важно для австралийцев и в другом измерении — отсюда они ведут отсчет подлинного создания своей нации, ее единства, стойкости и братства. Это своего рода австралийское Бородино, колыбель австралийского духа.

Появление моей книги «Российские анзаки в австралийской истории» — часть этой тенденции — нового осмысления событий далекого прошлого. Еще со времен официальной военной истории 1930-х годов было принято считать, что этнически австралийская армия была почти исключительно англо-саксонской, британской. Традиционно считается, что австралийский мультикультурализм начался гораздо позже, после Второй мировой войны, когда Австралия распахнула свои двери перемещенным лицам из Европы, в том числе и тысячам белорусов. В действительности массовая иммиграция в Австралию началась гораздо раньше, как раз накануне Первой мировой войны. В австралийской армии было тысячи три не-британцев. И это немало, так как в то время вся армия насчитывала немногим более трехсот тысяч человек. И вот одна тысяча из них были россияне. Этот факт, обнаруженный мной в результате многолетней архивной работы, был принят в нынешней Австралии с большим интересом.

Среди этих российских анзаков было четыре десятка уроженцев Белоруссии — евреев, белорусов, поляков, русских. Одни из них стали богатейшими людьми Австралии, другие так и прожили жизнь простыми тружениками, но, пожалуй, можно сказать, что у каждого из них — удивительная судьба. Особенно интересно мне было разыскать их потомков и записать их рассказы о жизни в Австралии отцов и дедов.

— Русская община в Австралии насчитывает примерно 30—40 тысяч человек... Сколько же белорусов живет сегодня в Австралии?

— Это совсем не простой вопрос. К сожалению, белорусы проваливаются сквозь дыры статистического решета. По данным последней переписи 2006 года, тех, кто указал своей родиной Беларусь, в Австралии было всего 1 243 человека, а на белорусском языке дома говорит 441 человек, но я подозреваю, что некоторые указали своей родиной СССР и не вошли в эту статистику. С другой стороны, можно предположить, что белорусы есть и среди тех, кто родился в Прибалтике или в Казахстане, а то и в Китае, и числится в австралийской статистике в этих графах. Вместе с тем, по оценке австралийского статистика Чарльза Прайса, к 1980-м годам в Австралии было около 14 тысяч белорусов и их потомков. В основном это перемещенные лица, численность которых в настоящее время быстро уменьшается в силу возрастных причин. Они, при эмиграции в Австралию после войны, часто вынуждены были скрывать свое белорусское происхождение, выдавая себя, например, за поляков, так как над жителями СССР висела угроза депортации в сталинский ГУЛАГ. Любопытно, что среди этих перемещенных лиц я нашла нашего родственника, Леона Говора, семья которого думала, что он погиб на войне.

— Елена, ваш отец — Виктор Говор... Его знают и помнят в Беларуси. Журналист, писатель, родился в Ветке, на Гомельщине. В 2004 году приш-

ли к читателю его книги, написанные когда-то «в стол», — романы «Время ревущих быков», «Круг»...

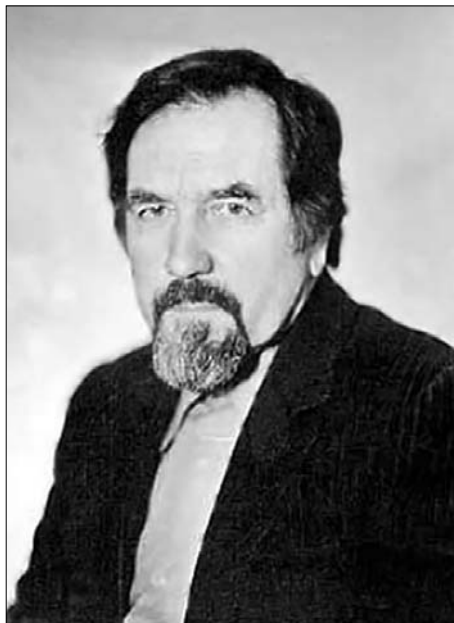
— Да, мне повезло в жизни на необычных людей, и отец был именно таким. Его родители встретились, когда страна уже была в движении. Мать, Дарья Ивановна Корзун, была из Хвощевки под Уваровичами, а отец, Антон Васильевич Говор, — из деревни Ивановичи под Молчадью в Западной Белоруссии. Антон Васильевич был агрономом, в 1930-х годах семья часто переезжала с места на место, опасаясь ареста. Этот жизненный опыт сделал Виктора в каком-то смысле человеком без малой родины, он не получил той первоначальной цельной питательной среды, из которой вырастали и русские, и белорусские писатели-деревенщики. Но уже с детства он вобрал в себя, например, микрокосмос довоенного белорусского местечка с его сосуществованием народов, религий, жизненных философий.

Причащение к своим истокам произошло у Виктора позже, когда после войны их семья вернулась из эвакуации в разоренную Белоруссию, в Ивановичи, на родину предков Антона. Поселились они в дедовском доме, в каморке у родственников. Отец вскоре умер, а мать вступила в партию, организовывала колхоз, шила, чтобы прокормить четырех сыновей. Виктор пошел в школу в Молчади, он был переростком, т. к. во время войны почти не учился, работал. И вот здесь, как мне кажется, он впервые прикоснулся к подлинной культуре. Конечно, это была советская школа, но в Молчади сохранялся еще цельный слой прежней, западнобелорусско-польской интеллигенции. Такой была, например, семья его учительницы Евгении Михайловны Данилевич. Некоторые из его соучеников по школе потом стали тоже литераторами — как, например, Ирина Крень...

Потом был факультет белорусской журналистики в БГУ, где шла выковка юной белорусской интеллигенции. Ведь после репрессий 1930-х годов и войны культурный слой в Белоруссии уже совсем истончился. Отец учился в самое, казалось бы, мрачное сталинское время 1948—1953 гг., но уверял меня, что взял от учебы очень многое. Какие дискуссии шли у них в комнате общежития, где жили по 50 человек! Физика, математика, философия, литература — они все этим жили, а не просто сдавали экзамены, как в мое время. Ну и «Ленинка», конечно, тот самый зал, где и я потом открывала свою Австралию. Вот эти Молчадская школа и университет и дали ему первый интеллектуальный толчок. А дальше он двинулся сам семимильными шагами.

— Виктор Антонович много писал о народных промыслах, о декоративно-прикладном искусстве... Наверное, сохранился богатый архив?

— Помню, как за несколько лет до смерти он приехал к нам в Австралию, погостить. Как-то мы гуляли с ним по ночной улице под Южным Крестом — он всегда любил прогулки поздно вечером — и я спросила его, где находится архив с публикациями. Я когда-то любила перебирать эту кипу вырезок с его очерками из «Літаратуры і мастацтва» и других изданий, накопившихся за долгие годы его журналистской работы. «А я его как раз недавно сжег на даче», — безразлично ответил он. С таким же безразличием относился он и к гряде своих дневников, которые начал вести еще школьником в голодной послевоенной деревне и вел на



*Журналист и писатель
Виктор Антонович Говор.*

протяжении всей учебы в университете. Как историк я понимала, что эти дневники — уникальный материал формирования незаурядной личности, юность которой пришлось на сталинскую эпоху. Слава Богу, эти дневники хранятся теперь у меня в Австралии и ждут своего часа. Да, отец был именно таким, жестоким судьей по отношению к самому себе. Он стремительно перерастал самого себя и свое время и всегда стремился к новым высотам.

Он не боялся одиночества, не боялся годами писать «в стол»... Он не мог не писать. Мне вспоминается один вечер, когда он позвал меня, мне тогда было лет 13, в свою комнату и без всяких предисловий начал читать отрывки из «Быков». Это было нечто совсем не похожее на привычную школьную литературу и на моего любимого Александра Грина. Пожалуй, я даже не могла понять, о чем он читает. Но прекрасно осознавала, что присутствую при каком-то священнодействии. Голос отца, полный творческого упоения, звучал в полутемной комнате нашей «хрущевки» как весть из другого мира. По-видимому, в те годы я была его единственным слушателем, которому безопасно было читать эти книги... А как нужен ему был настоящий слушатель и читатель, как долго он ждал того дня, когда его книги наконец-то придут к людям!

— Новый Свержень, Столбцы — это тоже часть биографии вашей семьи... Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее...

— Из этих мест происходят мои предки по линии маминой мамы, моей бабушки Людмилы Иосифовны Борисевич. Той девочки, что когда-то ходила в гимназию на Подгорной в Минске. Летом мы с ней ездили на дачу в Акинчицы под Столбцами. Но о том, что все эти лесные и полевые дороги, по которым мы так любили бродить с ней, исхожены нашими предками, она не говорила. И я понимала почему — ей слишком больно было вспоминать послевоенные годы, что она провела здесь с моей будущей мамой Волгой, которая умерла через неделю после моего рождения. Но иногда что-то из прошлого прорывалось. Как-то, глядя на шлях из Нового Свержня в Столбцы, она рассказала, как в конце 1940-х годов каждое утро шла по нему на работу в столбцовскую клинику и смотрела под ноги в надежде, что на дороге найдется картофелина, оброненная с воза крестьянами. И в клинике, придя пораньше, она варила в старом стерилизаторе эту картофелину, съедая сначала кожуру, а потом уже саму картошку. Эти все образы вставали передо мной так остро, что я не решалась спрашивать дальше.

Уже после смерти бабушки я в ее бумагах нашла пачку старых фотографий с надписью «Головенчицы. Родные». И вот с этими фотографиями я и отправилась в Головенчицы, деревню за Новым Сверженем. Стала заходить в каждый дом, показывать фотографии и спрашивать. Очень скоро мне повезло — я попала к женщине, сына которой бабушка спасла. Бабушка работала тогда патронажной сестрой и настояла, чтобы ребенка сразу везли в больницу, — подозрение на аппендицит. Это его и спасло. И скоро я уже побывала у моих новообретенных родственников и на могиле своего прадеда и прапрадеда. Вот тогда я и осознала свою кровную связь с этой землей, землей своих предков.

Тут все опять упирается в историю, ту историю, на которой мне довелось расти. Хотя мой отец прекрасно знал белорусский язык, на белорусском языке у нас дома не говорили. Да и нигде, кроме деревни, как казалось, не говорили. А оппозиция «город — деревня» переплеталась с другими оппозициями: «культурный — некультурный, русский — белорусский». Было и такое. В школе у нас родители подписали письмо, что, мол, не надо детям учить белорусский язык. И у нас была только белорусская литература, которую мы отвечали на русском языке. Самое печальное, что эта политика государственной ассимиляции падала на благодатную почву. Люди, перебравшись в Минск, без сожаления отказывались от языка своих предков, да и предков-то дальше дедушек-бабушек мало кто знал. Мне кажется, если бы тогда в школе с нами заговорили о подлинной истории, предложили заглянуть в прошлое своих семей, то и наше самосознание формировалось бы по-другому.

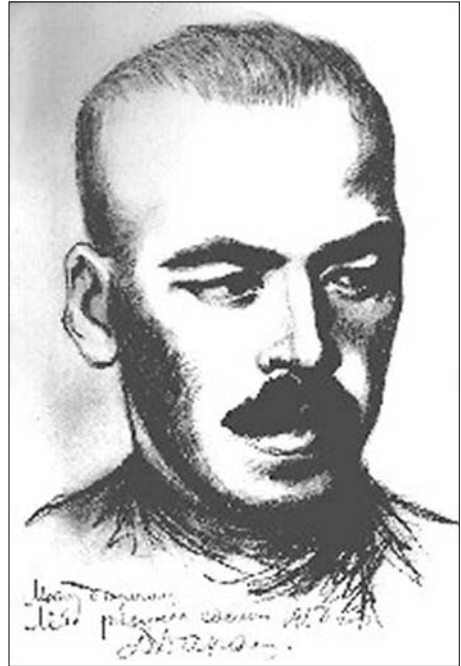
— **И все-таки, наверное, будет когда-то и обратное движение...**

— Для меня этот контраст был особенно силен — из заоблачных путешествий по Австралии я отправилась в долгий путь по дорогам и архивам Белоруссии, который все еще продолжается. Помню, как уже в конце 1980-х годов, приехав из Москвы, услышала в историческом архиве юношей, говоривших между собой по-белорусски. И как горько мне стало, что все это уже не мое, что я потеряла язык своих предков. Может быть, поэтому мне легко находить общий язык и с австралийскими аборигенами, и с потомками русских эмигрантов в Австралии, выросшими без родного языка. Мы понимаем, что мы потеряли.

Но поисками своих корней я хотя бы отчасти искупила свою вину. Еще в 1980-х, когда занятия семейной историей были не в чести, я нашла шестьдесят шесть своих прямых белорусских предков. Были тут помещичьи и церковные крестьяне, мещане, шляхта и дворяне. А самым неожиданным открытием была ветвь литовских татар, князей Базаревских, один из которых крестился и перешел на службу к Радзивиллам. Я занималась не только генеалогией, но и местной историей — историей конкретных деревень и церквей, микротопонимикой деревень, где жили мои предки, составляла некрополи кладбищ. Такими «моими» стали на Столбцовщине застенки и деревни Жолнеркевичи и Жуков Борок, Головенчицы и Новый Свержень, и фамилии — Борисевичи, Семенкевичи, Жолнеркевичи, Цвирки, Светлики, Базаревские. Помню, как-то я ждала поезд в Столбцах, а рядом со мной две местные девушки, закончившие школу, обменивались информацией о своих одноклассниках — кто и где теперь. И как же удивительно было мне слушать эти фамилии, ведь все они мне были знакомы после того, как я пересмотрела в архиве метрические книги местных церквей за начало девятнадцатого века.

— **Ваш дед — русский писатель Артем Веселый... Свои романы диктовал вашей бабушке — Людмиле Иосифовне Борисевич... Ваша мать и ее брат Лёва провели 8 лет в детдоме... Еще одна трагическая страница истории семьи и истории страны...**

— Был у моей бабушки заветный чемоданчик с бумагами. Я знала, что там лежат письма моей мамы, которые она писала из детдома в лагерь, где много лет провела моя бабушка, после того, как ее арестовали в 1937 году. Но когда бы я ни заговаривала об этих письмах, бабушка отвечала, что я в них ничего не найду. И она была права — для меня той, увлеченной Австралией и Гринум, в них действительно ничего не было. Понимание этого пришло десятки лет спустя. Я ехала со своими «русскими» аборигенами по ухабистой проселочной дороге в северном Квинсленде на заброшенную ферму Кристмас Крик. Туда, где умерла аборигенка Китти, мать Флоры, оставив на руках ее отца, русского иммигранта Леандро Ильина, шестерых детей. Флора, ей теперь было уже за 80, вдруг протянула мне пачку русских фотографий конца девятнадцатого века. С одной из выцветших карточек на меня печально глядел русский писатель Николай Дмитриевич Ильин, Флорин дед, а на обороте фотографии я с трудом разобрала его стихи, написанные в Южной Америке. Я так была увлечена Флориными сокровищами, что не сразу заметила, с каким ревнивым удивлением смо-



Писатель Артем Веселый.
Рисунок Д. Дарана.

трят на нас остальные аборигены, сидевшие с нами в машине, — Флорины родственники. Оказалось, что Флора никому из них эти фотографии не показывала. Вероятно, считала, как и моя бабушка, что для них там ничего нет. И открылась она именно мне, человеку из России, увидев мою искреннюю заинтересованность ее историей. И вот тогда я поняла, что наконец-то заслужила прощение за мою юность. Только вместо бабушки, которой уже давно не было на свете, даровано оно мне было аборигенкой Флорой... Эта история выросла в книгу «Мой темнокожий брат», изданную в Австралии.

— А что касается писем из бабушкиного чемоданчика или, точнее, — ее и Артема Веселого судьбы?..

— После революции моя бабушка Людмила поехала в Москву учиться — мечтала стать врачом. В мединститут ее не приняли, так как отец Иосиф Игнатьевич Борисевич, сын бывших крепостных крестьян из Головенчиц, выучившийся на бухгалтера и жизнь положивший на то, чтобы дать образование своим детям, попал в категорию служащих. Оказавшись безработной, бабушка устроилась секретарем к молодому писателю Артему Веселому. Она собирала материалы для его книг «Россия, кровью умытая», «Гуляй, Волга». Вскоре стала его женой и спутницей по путешествиям в лодке по Волге, Каме, Зайсану и Иртышу. Несколько раз они приезжали в Минск. Артем любил беседовать с Иосифом Игнатьевичем. В октябре 1937 года арестовали Артема, а через два месяца — Людмилу. Их детей — десятилетнего Леву и шестилетнюю Волгу — забрали в детприемник и разлучили. Только полтора года спустя Лева с помощью директора детдома удалось разыскать сестру и добиться их воссоединения. К тому времени Артем уже был расстрелян на Коммунарке, а бабушку, как «члена семьи изменника Родины», выслали сначала в Потьму, а потом в Карлаг, где она работала медсестрой, — незадолго до ареста она окончила сестринские курсы. Ей разрешалось писать одно письмо в месяц. И это письмо она всегда отправляла детям, в Городецкий детдом. Отцу, в Минск, она так ни разу и не написала. Он во время войны вернулся на родину, в Новый Свержень, и умер в 1946 году. Так и не дождавшись освобождения дочери. Этот грех она несла на себе всю жизнь.

Письма моей мамы и Левы — уникальный документ эпохи. Документ страны, которая пытается вырезать из них винтики для своей системы, но их живые души упорно вырываются из ее тисков. И в то же время эта эпоха многомерна — сколько хороших людей встречаются на их пути. И директор детдома, который, рискуя своей головой, иногда посылал письма детей в лагерь со своим штампом. Так было больше шансов, что письмо дойдет. И учитель труда, который в 1946 году, узнав, что Людмила Иосифовна освобождается из лагеря, сказал Волге, что он приютит ее у себя, если ей негде будет остановиться. После лагеря Людмила Иосифовна вернулась в Новый Свержень, работала на лесопилке, т. к. там давали хлебный паек. А потом патронажной медсестрой в Столбцах. Сбылась ее мечта о медицинском поприще. Лева к тому времени уже учился в Горьком, а Волга переехала к маме. Последний школьный год училась в Столбцовой школе, а в 1948 году поступила на биофак в БГУ. И снова полетели письма, которые рисуют портрет послевоенного белорусского студенчества. И что удивительно, моя мама, выросшая вдали от Белоруссии, любила белорусские стихи, которые в ее тетради перемежаются с русскими. Это было влияние ее университетской подруги Иры Крень, отец которой — белорусский поэт и литератор Платон Крень — тоже отбывал срок в лагерях. А Ира, к тому же, была молчадской подругой моего отца, так они все и познакомились. Моя мама рано умерла, но, по существу, они и их друзья и стали шестидесятниками. И я надеюсь со временем с помощью документов из их архива рассказать об этом времени в документальном романе.

Беседовал Кирилл ЛАДУТЬКО.

Канберра—Минск